

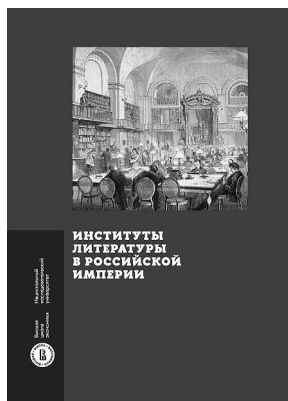
Марина Загидуллина

История литературы как социального института

DOI: 10.53953/08696365_2024_189_5_304

Институты литературы в Российской империи / Сост. и отв. ред. А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков.

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. — 496 с. — 500 экз. —
(Монографии ВШЭ: Гуманитарные науки).



В предисловии А.В. Вдовин и К.Ю. Зубков справедливо отмечают, что «институциональный подход редко применяется к литературе XVIII—XIX вв.» (с. 9), и представляют рецензируемую книгу не как «создание масштабного нарратива, охватывающего социальную историю литературы на протяжении нескольких веков, а [как] анализ отдельных узловых проблем, связанных с эволюцией института литературы» (с. 25). Дают они также общий очерк институционального анализа литературы и историю попыток его использования в России. Наиболее продуктивным они считают подход Ю. Хабермаса, основывающийся на теории модернизации. Хабермас рассматривал литературу и как образец, и как двигатель модернизации, прослеживая

длительный процесс автономизации литературы от государственного патронажа (в свою очередь, литература предстает как элемент публичной сферы — по Хабермасу, избравшему именно литературные дискуссии в Германии как пример становления частного пространства, защищенного от государственного диктата, противостоящего ему и — как следствие — его разрушающего). Иными словами, автономизация литературы и знаменует автономизацию общества, обретение обществом каналов независимого от власти сплочения и «обратного воздействия» на власть. Здесь же обнаруживаем и анонс основного заключения, к которому пришли исследователи — авторы книги:

Выводы нашей работы, как кажется, подталкивают к восприятию независимости социальных институтов от государства не как необходимого эпизода на якобы непреложном пути исторического прогресса, а как результата усилий множества отдельных акторов, действующих в определенных исторических условиях (с. 14).

Книга включает тринадцать исследований различных аспектов социальной истории русской литературы за XVIII—XIX вв. Статьи расположены в хронологии предмета исследования — от Тредиаковского к народным чтениям конца XIX в. — и объединены в пять частей: становление литературы как института (XVIII в.), публичная сфера 1830—1850-х гг., литература «между государством и обществом» (середина и вторая половина XIX в.), писательские сообщества второй половины XIX в. и просветительские проекты (середина и вторая половина XIX в.). Объединение материала в отдельные части в некоторых случаях условно. Для удобства обзора содержания в рамках данной рецензии рассмотрим статьи не на основе хро-

нологии или предмета изучения, но на основании близости разных исследований по аспектам институциональности. Тогда можно выделить три основных кластера: во-первых, сообщества, общества и объединения разных периодов, манифестирующие различные функции института литературы; во-вторых, статьи о внутренней «атомизации» института литературы, выражающейся в выделении сегментов словесности в самостоятельные «поля»: актуализация поэзии и собственно художественной прозы, основанной на «вымысле» в XVIII в.; в-третьих, пересечение литературного поля с другими полями, а именно образованием и педагогикой. Разумеется, и это деление весьма условно.

Предложенное деление позволяет не столько концептуализировать и обобщить содержание (это достаточно четко и полно сделано во введении к книге), сколько обнаружить дополнительные данные об институциональном статусе рассматриваемых феноменов.

Первый кластер — статьи о литературных обществах и объединениях. Появление обществ, содержанием деятельности которых является словесность в самых разных ее проявлениях, без сомнения, является ярким признаком институционализации рассматриваемого феномена. Анализируя неожиданную конкуренцию Императорской Российской академии (реформу которой предложил А.С. Шишков) и Вольного общества любителей российской словесности (устав которого, по Шишкову, во многом дублировал функции Академии), А.С. Бодрова в статье «Институциональный статус литературных обществ второй половины 1810-х годов» формулирует центральный принцип подобных объединений:

Актуализация конкуренции внутри поля литературы (или даже шире — публично-просветительской сферы) на этом этапе пока неотделима от конкуренции за гетерономные привилегии — покровительство высшей власти и возможность использования государственного ресурса. Литературные объединения, как и другие «ученые» или благотворительные общества этого и более позднего периодов, сочетали автономную демократизирующую внутреннюю организацию с использованием патронажных моделей и бюрократической конкуренции, а сама их деятельность мыслилась и осуществлялась в тесном сотрудничестве с властными институтами и часто под их покровительством (с. 126—127).

На «внутрицеховом» уровне такие организации имели вполне демократическую структуру, однако этот аспект тонко рассматривается автором как «прием», некая «уловка» лоббирующих лиц с целью реализации конкретного интереса (хотя само понятие «интересов» как институционального «драйвера» в книге не рассматривается).

Деятельность Шишкова была направлена на придание большей значимости Российской академии как главному гаранту «правильности» развития русского языка («долг попечения о языке»). Текст проекта Шишкова являл собой точное соответствие «миссии» Академии наук как института (поскольку в основе всякой миссии — формулирование прагматических функций на языке «деонтологии», высокого общественного долга и ответственности). В этом смысле пояснение функции Российской академии как «охранительницы языка» в проекте Шишкова было сродни доказательству «военно-оборонной» значимости ее деятельности (наличие врагов языка и необходимость им противостоять в целях «просвещения и общественной нравственности» как основы государственного развития и стабильности).

Большой интерес представляет и детальное описание хода обсуждения проекта Шишкова в высших правительственных кругах, где в центре внимания оказались не формулировки миссии и функции, а именно вопросы субординации (Бодрова

подчеркивает, что и для самого Шишкова изложение высоких целей Академии было лишь способом получить возможность управлять Академией без вмешательства Министерства народного просвещения — поскольку по его проекту президент Академии не подчинялся какому-нибудь министерству, а был равен министрам по своей роли в управлении Академией).

Анализ институционального аспекта проекта Шишкова позволяет Бодровой показать суть стратегии «нового президента»: добиться одновременной легальности (законного признания на уровне государственного устройства) и легитимности Академии как «внутреннего регулятора» всего поля словесности (за счет выборности и опоры на оценку просветительских заслуг кандидатов в академики и управляющие Академией комитеты). Смена наименования на ВОЛРС (первоначально Общество соребнователей просвещения и благотворения) также рассматривается в статье как шаг институциональный: эпитет «вольное» важен как показатель независимости, а для Шишкова — снятие претензий на бюджетное финансирование (что могло бы поставить уникальность Российской академии под вопрос).

Следует отметить, что сама «напористость» «соребнователей» (и вообще «активизм» в части создания именно литературного общества) представляет собой яркое подтверждение быстро расширяющегося культурного пространства, пронизанного литературностью (то есть упрочения позиций художественной литературы в практиках светского общения, реализованных прежде всего в форматах салонной жизни). Имеет значение и тот факт, что ВОЛРС в части внимания к словесности было сосредоточено именно на литературе, а не на «охране языка» (как неоднократно подчеркивал в своих пояснениях к уставу Шишков). Бодрова указывает, что — хотя Шишков привлек в Академию «новых» литераторов, с которыми полемизировал (например, Н.М. Карамзина), — Академия осталась «закрытым собранием», не отвечающим потребностям автономизации литературы, что и проявилось в возникновении иных объединений, восполняющих эти организационные лакуны.

А.С. Федотов в статье «Пореформенный театр в поисках автономии: падение театральной монополии и сопутствующие процессы» стремится показать автономизацию «как глобальный процесс, в который вовлечены все виды культурного производства в России XIX в. от искусства до науки, но который в разных сферах протекал по-разному» (с. 248). Его внимание сосредоточено на деятельности Общества русских драматических писателей; автор подчеркивает, что речь шла о борьбе за автономию театров от государства, которая «имела экономический, политический и эстетический смысл» (с. 251). Стоит отметить, что на первый план выходит именно монетизация труда драматургов (и в целом вопросы экономические); политические оказываются достаточно маргинальными, а эстетические оборачиваются тем же коммерческим вопросом «успеха у публики» либо становятся «дискурсивной упаковкой» все тех же «финансовых интересов». Федотов подчеркивает, что автономизация театра была крайне затруднена из-за дороговизны производства театральной продукции (спектаклей), включающего содержание и больших зданий, и больших групп людей (с. 248—249). Отмена императорской монополии рассматривается в статье как важное достижение демократизации театрального дела в России, автор также исследует специфику взаимоотношения государственного регулирования и бюджетного финансирования театров.

Описывая деятельность Общества русских драматических писателей, Федотов стремится подчеркнуть, что сам факт создания такого общества и его деятельность были знаками автономизации театрального дела от государства. Путь к созданию общества был довольно тернистым и потребовал основательных личных усилий его создателей. В отчете о работе общества, вышедшем в 1899 г., дается детальная

картина его функционирования: перечислены все лица, участвовавшие в учреждении общества, а до утверждения его устава действовавшие в не имеющем юридического статуса, но вполне институциональном Собрании русских драматических писателей, фактически наладившем основную деятельность организации. Устав общества был утвержден 30 июля 1874 г. — через четыре года после решения о создании этого объединения:

Утверждение Устава Общества составляло важное событие в области авторского права на литературную собственность: теперь силою правительственной власти было признано и обеспечено за драматическими писателями право собственности на постановку их пьес на частных сценах. Таким образом статья 1684 Улож[ения] о наказ[аниях] получила для себя правовую основу¹.

Что же касается рассмотрения театральных юбилеев в этой же статье (празднование 100-летия русского театра в 1856 г. и 200-летия в 1872-м), то здесь собран очень интересный материал об организации премии и конкурса на лучшую пьесу, посвященную юбилею, о «провале» Уваровской премии и учреждении премии Грибоедовской как демократической альтернативы первой. Федотов отмечает:

Драматургическая премия в этих условиях приобретала нормальные для современного мира функции: она не только финансово поощряла лучших в своей отрасли художественного производства, не только участвовала в циркуляции символического капитала, но и помогала свободным антрепренерам иерархизировать драматургов, сориентироваться в этой сложной сфере, снизить финансовые риски (с. 264).

Большой интерес представляет и анализ пьесы Островского к 200-летию юбилею театра «Комик XVII столетия» (данный в сравнении с пьесой В.А. Соллогуба «30 августа 1756 года», выигравшей конкурс пьес к 100-летию юбилею театра). Именно в связи с этим конкурсом Федотов дает обзор деятельности Театрально-литературного комитета и показывает, как развивался кризис доверия к этому объединению, не отвечавшему все более высоким требованиям к специализированной экспертизе. Это тоже крайне важная часть «внутренней атомизации» литературы, манифестирующая все более сложные иерархии внутри самого литературного поля (так, автор подчеркивает, что Театрально-литературный комитет в части экспертизы театральной укоряли в излишней «литературности», отсутствии собственно опытных театральных авторов в его составе).

Сравнивая 100-летний и 200-летний юбилеи театра, составители во введении иронично пишут: «...вопреки здравому смыслу, эти даты отмечались с интервалом отнюдь не в 100 лет» (с. 31). Федотов подчеркивает, что «история театра все время переписывалась», а часть статьи, посвященную этому материалу, называет «Борьба за театральную историю». Анализ первого юбилея, приуроченного к общей программе торжеств коронации Александра II, представляется очень точным и значимым: история театра вписывалась в общий нарратив «культуртрегерства» царского дома (с. 264—265). Что касается второго юбилея, то из материалов статьи следует, что фактически единственным инициатором и исполнителем включения 200-летия театра в программу чествований Петра был сам Островский (от имени Артистического кружка), который написал свою пьесу во многом под воздействием новых материалов по истории театра, не только опубликованных Н.С. Тихонравовым, но и лично переданных Островскому историком. То есть переписывание ис-

1 Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования 1874—1899 г. М., 1899. С. 8.

тории шло не «под заказ» («исходя из нужд современности»), а в силу вполне объективных обстоятельств — новых исторических сведений о петровских временах (с. 266—267).

Подробный анализ литературного общества с самым длительным сроком существования — Литературного фонда — содержится в статье *М.С. Макеева* («Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым: от “чистого искусства” к реалиям литературной жизни»).

Концепцию этого общества (получившего краткое наименование «Литературный фонд») он называет «внутрипрофессиональным» решением, суть которого — признание неспособности «внешнего мира» (общества) рассматривать литераторов как социальных акторов. Функции и организацию фонда (по проекту Дружинина) Макеев убедительно характеризует таким образом:

Дружининский проект выглядел как оторванная от реальности утопия, вытекающая из понимания русской литературы, как будто принявшей лозунг «чистого искусства» и волшебным образом превратившейся в «товарищество» благородных и тонких «ценителей» (с. 281).

Устав общества был утвержден 7 августа 1859 г. Общество отчитывалось перед Министерством народного просвещения обо всех лицах, получавших от него пособие (с. 283), что «обеспечивало Обществу покровительство и ежегодные пожертвования от министерства» (с. 284):

В результате Министерство народного просвещения проявило инициативу и сделало пожертвования в Общество постоянной статьей своих расходов. Каждый год Фонд получал существенную сумму из личных средств императора Александра II. Благодаря этому капитал Общества возрос в 1867 г. до 46 тыс. руб., а пособий было выдано на сумму 10 тыс. (с. 285).

Исследование решений Литературного фонда помогает увидеть важнейшие аспекты «кухни» института литературы: границу понятий «литератор», «ученый», разграничение «профессионалов» и «любителей» — все это является яркими признаками укрепления института литературы в части самих «производителей литературной продукции» как его основных акторов. Отмечая, что в основе принципов самих решений общества выделить деньги тому или иному просителю лежали простые и ясные принципы гуманности, милосердия («сантиментальности» — вопреки формулировкам Дружинина), Макеев приходит к следующему выводу:

Оно [общество] стало отражением русской литературы с ее гуманистическими тенденциями, с царящим в ней беспорядком в сфере эстетических оценок и иерархий, литературы, не до конца и нечетко осознающей, что она собой, собственно, представляет и где границы, за которыми начинается недостойная ее «низкая» реальность (с. 294).

В статье «Русская литературная богема (1860—1880-е годы)» *А.И. Рейтблат* обращается не к официально утвержденному обществу, а к социокультурной группе, а именно литературной богеме. Важно, что в данной статье понятию богемы дается четкое определение, а временные рамки, в которых рассматривается это явление, отграничивают литературную богему этой эпохи от более позднего «элитарного» ее варианта (что подчеркивается в статье). Характеризуя литературную богему, автор соглашается с В.М. Фриче в том, что богема по сути «интеллигентный пролетариат». Рейтблат отмечает, что содержанием жизни богемы становилась критика

действительности (в основе которой — пренебрежение «навязанными» правилами и ограничениями), приходившая на смену «работе на заказ» (с. 297).

Социальной базой литературной богемы исследователь считает «низший уровень литературной среды» (с. 298). Вообще эпитет «низший» пронизывает всю статью, указывая на место литературной богемы не только в литературной, но и в социальной иерархии. Питательной средой русской богемы стал слой мелких литераторов, обслуживающих низовую прессу (дешевые газеты для малообразованных слоев: «Сын отечества», «Петербургский листок» и т.п.). Из мемуарной и художественной литературы автор приводит фрагменты, позволяющие составить очерк русской литературной богемы: бедность, граничащая с нищетой, пьянство, неуважение со стороны самых разных групп; но в то же время и сознание своей миссии (которое, по сути, как подчеркивает Рейтблат, было вульгаризацией идеологии социального критицизма и нигилизма 1860-х гг., с. 306). Важная черта богемы — образование именно сообщества, коллективной жизни. Местом общих встреч становились трактиры:

Здесь обменивались информацией о возможном заработке, о переменах в составе издателей и редакторов, о возникающих периодических изданиях и т.д., перехватывали у коллег немного денег в трудный момент, вместе пили, иногда там же и работали (с. 307).

Интересно, что это описание близко кейсу Хабермаса (кофейня как локус публичной сферы, где идет обсуждение литературы, театральных постановок и свободный обмен мнениями), однако для автора статьи нет сомнений, что богема до уровня серьезного обсуждения общественных проблем не дотягивала (хотя критический дискурс был нормой), и основной причиной этого стал, по-видимому, низовой характер богемной среды, выражающийся не столько в ее пауперизации, сколько в ориентации на контркультурное поведение и прожигание жизни. В отдельных случаях группы богемных литераторов могли образовывать и некоторые профессиональные сообщества (например, «Общество репортеров»). Большой интерес представляет описание самих практик литературно-журналистского производства (например, продажа одних и тех же лубочных историй с разными названиями издателям или сочинение новостей для низовой прессы).

Наконец, к первому кластеру можно отнести и статью *Я.Я. Агафоновой* («Чтения для народа как государственный просветительский проект в поздний период Российской империи»):

Так, в 1872 г. при Министерстве народного просвещения была создана специальная Постоянная комиссия по устройству народных чтений, которая должна была не только разработать регламент, но и создать официальный просветительский дискурс, адресованный народу (с. 398).

Комиссия по устройству народных чтений, таким образом, изначально создается не как частная инициатива, ждущая одобрения свыше, но полностью в связке с властями, под их началом и патронажем (конкретно, как показано в статье, — от полицейского ведомства до царя):

Издания Комиссии скорее были навязаны читателю, чем добровольно им выбраны, тем не менее их покрывала аура государственного авторитета, что позволяет рассматривать чтения как один из важных дискурсов популярной литературы (с. 410).

Подробный анализ организации чтений (не только в аспекте выбора текстов, но и в материальном аспекте — поиск помещений для чтений, использования световых

картин и т.п.) позволяет автору прийти к значимым выводам о «конструировании народного читателя» (в ситуации «делегированного чтения»). Эта конструкция (основанная именно на представлениях самих организаторов чтений о публике) вступает в конфликт с реальной аудиторией чтений, что также очень подробно раскрывается в статье.

Второй кластер статей связан с описанием процессов все большего раздробления «единого тела» словесности, выделения отдельных формирований разного типа, обретающих «узнаваемость» и становящихся «заметными». С таких статей начинается книга — это две статьи, написанные А.А. Костиным. В первой («Открытость поля поэзии, или Поэзия как товар») приводятся интереснейшие разыскания о месте поэзии в общей циркуляции литературных произведений середины XVIII в. и на основании их (например, ведомости выплат Академии наук за изданные ею книги) устанавливается, что поэзия была совершенно маргинальной формой словесности, не востребованной публикой (притом публикой образованной). Фактически точкой роста значимости поэзии становится только вторая половина XVIII в., а стереотипное мнение о роли Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова в становлении поэзии не подтверждается при внимательном знакомстве с общим фоном литературной жизни того времени. Обращая внимание на, казалось бы, чистые условности стиля (например, обращение авторов к публике), Костин показывает, как публика поначалу фактически объявлялась нежелательной в ситуации общения избранных (поэтов), а иногда под читателями понимался один-единственный оппонент-поэт, но постепенно такая позиция стала сменяться включением читателей в поле стихотворного производства, которое, в свою очередь, было разгерметизировано. Внутри этих трансформаций (1740—1760-х гг.) и кроется точка входа читающей публики в стихотворное пространство — как потребителей этого товара. Продолжая отвечать на вопрос о выходе литературы на стартовые позиции формирования социального института, Костин далее обращается к символическому капиталу «фикциональной литературы», то есть художественных произведений, в основе которых лежит вымысел (статья «Вымыслы поэтические и преступные: литература среди других институций письма»). Особый интерес представляет сопоставление «подъяческого» и литературного языков. Автор убедительно показывает, как официально-деловой стиль того времени открывал дорогу к продвижению по социальной лестнице, а владение им расценивалось как редкий талант. Литературный же язык вымышленных историй оказывался в оппозиции к нему и начинал производство текстов, обладающих своим типом социального капитала. Авторские (фикциональные) навыки «вымышления» не нужны в мире подъяческого языка (равноудаленного и от литературного, и от разговорного, с. 95). Остается установить, как же литературное производство смогло завоевать свое место под солнцем:

Формы существовали, стихотворцы существовали; то, что можно назвать «литературой» (как набор текстов), существовало; грамотные читатели, входящие в одни (обширные) социальные сети со стихотворцами, существовали, а между тем стихотворства за границами очень ограниченной группы стихотворцев не было. За счет чего происходит переход? Более удачной объяснительной моделью может быть различие достойных и недостойных субъектов, читающих или не читающих достойные книги (набор которых определяется в постоянной публичной дискуссии), — центральный механизм социальной динамики Просвещения (с. 75).

«Достоинство», определяемая чтением книг, и становится маркером признания «вымысла», который, как показывает Костин, до этого рассматривался только в негативном смысле (в юридическом дискурсе). Здесь интересно, что автор пере-

ключает внимание на самих деятелей юридической сферы, которые «не могли не наделяться мистическим статусом»: ведь с помощью слова они могли спасти просителя и вернуть ему искомое или наоборот (с. 89). Но самое важное в этой статье — указание на момент «первоначального накопления» социального капитала литературой: это момент секуляризации культуры, который строился на основании придания сакрального статуса религиозным объектам (в том числе, например, знаниям, начитанности, способности постижения прекрасного и т.п.).

Тема «атомизации» института литературы, некоторые моменты становления которого глубоко охарактеризованы Костиным, продолжается в статье *М.Б. Велижева* «Публичная сфера и политическая мысль: институты полемики в ранней истории западничества и славянофильства», где автор ставит своей целью «реконструировать глубинную дискурсивную структуру публичных обсуждений» (с. 133) острых проблем «славянофильско-западнического» поля. При этом художественная литература для автора статьи не особенно важна — он говорит преимущественно об историко-философской части «истории идей», репрезентируемой в новых форматах публичной сферы. В принципе, некоторая нечувствительность к автономизации серьезной публицистики историко-философского содержания от общего поля словесности в статье ощущается довольно остро; между тем известный стереотип, согласно которому литература в России взяла на себя функции других институтов (публичной сферы), представляется недостаточно обоснованным. Предложенный в книге подход и позволяет увидеть сегментацию литературного пространства на элементы, ищущие своего оформления, а в определенных случаях — институционализирующиеся. Сам Велижев упоминает фразу Грановского о «моде на ученость» в высшем свете, называя это «разгерметизацией университетской науки». Участники интеллектуальных «чтений» тоже предпочитали называть такие вечера «литературными», а авторы публицистических статей почитались «литераторами». Однако можно задуматься о «синкретизме» таких вечеров, где Гоголь читал «Рим» или главу из нового романа «и смешил нас ужасно», как замечала Е.М. Хомякова, а ее супруг «не переставал спорить» (с. 138–139). Велижев дает полемике Грановского, Киреевского и Хомякова обозначение «политико-философское письмо» (с. 139–140), однако далее называет дебаты между ними, разворачивающиеся в салонах, «интеллектуальными развлечениями» (с. 140), пишет, что «дебаты о судьбе России или о философии Гегеля становились частью светского досуга» (с. 150).

Под институциональным аспектом в статье упоминается «влияние на молодежь» (студенческую), однако эта микротема лишь обозначена. В финале Велижев использует понятие «культурные практики», указывая на значимость понимания правил светского поведения (и салонного спора) для интерпретации истории идейных расхождений западников и славянофилов.

Е.И. Вожик в статье «Фельетоны журнала “Современник” и формирование публичной сферы в 1850-е годы» обращается к теме книги через поэтику фельетонов И.И. Панаева и А.В. Дружинина. Во-первых, она исследует развернутую метафору литературного мира как «сцены», а также связанных с этой метафорой «декораций», второго и третьего планов и др., подчеркивая, что такое сопоставление показывает публичность мира литературы (открытость публике, как сцена в театре), из чего делает вывод, что можно применить понятие «публичная сфера» Ю. Хабермаса к литературе 1850-х гг. При этом независимость от государственной власти понимается как существование по законам, утвержденным самими литераторами, но этиология этих «внутрицеховых» законов также не рассматривается.

Вожик подчеркивает, что великий князь Константин Николаевич покровительствовал литераторам и ученым, организовывал поездки литераторов для описания различных регионов России и участвовал в иных формах литературной жизни.

ни. По мнению автора статьи, это означает, что правительство само осознало значимость литературы; отметим, что роль отдельных персон в развитии института литературы — важный объект наблюдений в рамках институционального подхода.

Третий кластер статей связан с пересечением поля литературы с иными полями. Это прежде всего цензура, выступающая «сколком» поля чиновной службы, непосредственно касающимся управления литературными процессами. Так, в статье «Прилично ли такое представление на театре»: моральные категории и социальное воображаемое в деятельности драматической цензуры середины XIX в.» К.Ю. Зубков проводит подробное исследование цензуры в области драматургии. Автор приходит к выводу, что цензура и на Западе, и в России прежде всего боролась за «приличия» в публичном пространстве. Исключались любые намеки на телесный низ — будь то сексуальные отношения или, например, роды, болезни. Исключалась и двусмысленная лексика. Театр рассматривался как «школа воспитания» для народа (так в Германии, и так же — в России). При этом цензура существовала, по мысли Зубкова, в полном отрыве от той самой публики, о нравственном покое которой она заботилась: «Строго говоря, в Российской империи общественное мнение никоим образом не могло повлиять на деятельность цензуры: легально никаких механизмов “обратной связи” не существовало» (с. 187).

Автор выстраивает обзор цензурных моделей от николаевского времени к эпохе Александра II, подчеркивая, что на основе цензурных заключений можно реконструировать «воображаемую публику» (с. 188). В этой статье читатель найдет глубокий анализ оценок цензоров и попытку их систематизировать. Фактически понятия «политическая неблагонадежность» и «эстетическое несовершенство» сливались, одно влекло за собой второе. Нередко негативная оценка произведения прямо увязывалась с негативной оценкой «неприличного поведения» реального автора (с. 199), а иногда такого автора приглашали и в III отделение для «воспитательной беседы» (с. 200).

...цензоры николаевского времени, таким образом, занимали покровительственную позицию, стремясь воспитывать всех зрителей, как образованных, так и просто-народье. Их беспокоила прежде всего даже не угроза распространения со сцены политически опасных идей, а скорее демонстрация нежелательных моделей поведения (с. 202).

По мнению исследователя, в 1860-х гг. в цензурных заключениях наблюдается переход от охранительной к просветительской модели театра (важнее позитивное воздействие на публику, «поучительный характер театра», с. 204). В то же время цензура обращала внимание на общий смысл пьесы, ее литературное и сценическое качество. Позднее, в 1870-е гг., цензура вновь возвращается к модели охранительной, а в заключениях цензоров больше считаются «страхи», чем стремление поддержать какую-либо «воспитательно-нравственную» тему.

Зубков показывает работу цензоров как самодостаточный элемент общего института литературы; фактически цензоры представлены как акторы, артикулирующие «голос власти». Большой интерес представляет исследование институционального характера цензуры на каждом этапе ее развития, предопределяемого не «объектом цензурирования» (то есть литературным полем), а именно полем чиновного труда.

Так, в статье упоминается Совет министра внутренних дел по делам печати, члены которого принимали решения коллегиально и должны были развернуто обосновывать свою позицию (с. 206). Автор статьи не ставит задачу проанализировать деятельность Совета, как не учитывает и контекст карьеры цензора (в том

числе зависимость его суждений от горизонта ожиданий непосредственного начальника или руководителя, который принимал решение о карьерном росте). Именно этот аспект анализа литературной цензуры представляется максимально институционализированным, хотя напрямую в статье речь об этой стороне вопроса не идет. Например, на с. 208 сообщается: «В итоге пьесу Шиллера, в которой Федоров нашел столько нравственности и художественных достоинств, запретил лично император». Здесь важен сам механизм императорских запретов — какие именно решения утверждались им лично, опирался ли он на мнения советников по этим вопросам либо действовал исходя из своего читательского и эстетического опыта, какую роль лично император играл в функционировании театров и т.п.

На с. 215 автор заключает: «...цензоры этого периода, похоже, верили в то, что самые разные представители публики — и элиты, и простонародья — в целом способны понять и эстетическую природу пьесы, и ее нравственный смысл, причем сходным образом». Здесь важно бы прояснить, насколько непосредственное руководство цензоров было вовлечено в «либеральный дискурс», активизированный александровскими реформами (что кажется более вероятным, чем заключение о том, что «цензоры верили» во что бы то ни было).

Очень удачным кажется словосочетание «страхи цензоров», фактически говорящее о наличии «внутренней цензуры» самих цензоров, но, к сожалению, не проясняющей, на каких внешних факторах базировался этот внутренний самоконтроль. Институциональный подход к литературному процессу, несомненно, позволяет такие механизмы выявлять и описывать. Например, на с. 222—224 речь идет о «целой теории» цензора Фридберга, в основе которой принцип «как бы чего не вышло», то есть модель цензуры, характерная для николаевской эпохи (хотя это 1870-е гг.). Но автор статьи не проясняет, кто был истинным адресатом записок Фридберга (начальник какого типа и идейной ориентации), предпочитая рассуждать о «затаенном страхе» Фридберга перед «всей массой русской публики», нежели о его стремлении «выслужиться» перед конкретным начальством. Это предположение автор статьи косвенно подтверждает, говоря о том, что вся цензура 1870-х гг. заняла «фридберговские» позиции (с. 224).

Важное место в статье занимает парадокс разрешения пьесы «Гроза» к постановке. Можно задаться вопросом — не был ли Островский лично «приятен» или даже важен для непосредственных начальников цензоров, что и ставило его в уникальную позицию, когда любую его пьесу следовало именно «выгородить» и спасти от каких бы то ни было обвинений? В этом отношении институциональный подход мог бы дать ключ к крупному культурному явлению, каковым выступала цензура, однако это могло бы вступить в противоречие с идеей автора статьи об «агональной публичной сфере» в России, представлявшей собой не консенсус точек зрения на большие вопросы современности, но кипение разных взглядов и одновременное сосуществование самых разных трактовок общественной жизни.

Тема цензурного ведомства продолжена в статье «Чиновник и писатель: случай И.А. Гончарова» *С.Н. Гуськова*. В этой статье последовательно развенчивается мнение, что государственная служба была для Гончарова бременем, мешавшим творчеству. Автор доказывает, что Гончаров успешно сочетал карьеры цензора и писателя. Более того, служба стала важным источником тем и идей его произведений, вдохновила на ряд художественных решений; в свою очередь, литературный талант стал причиной его карьерного роста. Собственно институциональные моменты (особенно после 1855 г., когда писатель становится цензором и членом Совета министра внутренних дел по делам печати) в статье не освещаются; фактически исследование направлено на корректировку стереотипного восприятия государственной службы как тяжелого бремени и совершенно скучной деятельности.

К третьему кластеру пересечений поля литературы с иными полями можно отнести и статьи, связанные с педагогикой и образованием. Статья *А.В. Вдовина* «От “Полной русской хрестоматии” к первой программе по литературе: становление стандартов литературного образования в России и педагогические проекты А.Д. Галахова 1840—1850-х годов» основана на теоретических изысканиях А. Грейфа, чья матрица института (правило — организация — убеждение — регулярность) применена к программам словесности в середине XIX в.

Проведено подробное исследование выхода (и успеха) галаховской хрестоматии с упором на институциональность, понимаемую все же в большей мере как деятельность облеченного властью лица — Ростовцева (по Грейфу, «институционального предпринимателя»), который и создает административный сеттинг внедрения хрестоматии как основы нравственного развития кадетов. В статье не только представлен расклад исследуемого объекта по матрице Грейфа в части «убеждений и норм» и «регулярности» (например, «убеждение в том, что список отобранных текстов русской и зарубежной литературы — важная культурная ценность и формирует хороший стиль речи и национальное мировоззрение гражданина», с. 320), но и собраны материалы, позволяющие судить о внутренней логике процессов институционализации литературы как учебного предмета; например, фраза самого генерала Ростовцева:

Когда же все наши руководства поспеют, тогда направление, средства и цель умственного образования будут как лошадь на возжах, в руке Главного начальника, захочет — поворотит вправо, влево, остановит, прибавит рыси и т.д. <...> Без них военно-учебные заведения никогда не достигнут единства в образовании и высшее начальство никогда не будет определено знать, в каком направлении воспитывает оно своих учеников, что при неблагонамеренности, хотя и малого числа лиц, может постепенно привести Россию на край пропасти, ибо, пользуясь правом избирать руководство, преподаватель может читать воспитанникам, что захочет (с. 331—332).

Наконец, в статье «“Общество это составляю я один”»: генезис и рецепция педагогического проекта Л.Н. Толстого в свете дискуссий начала 1860-х гг. о законах общественного развития» *Ю.И. Красносельская* говорит о попытках Толстого фактически покинуть поле художественной литературы и перейти в другой статус — организатора педагогического проекта. В этой статье институциональный аспект почти полностью маргинализирован, поскольку борьба Толстого с «Современником» хорошо вписывается в историю идей, но не слишком очевидна как элемент развития института литературы. Автор отмечает, что в кружках «художники и поэты» сами себя провозгласили главной силой, направляющей прогресс (с. 358). Характеризуя идейные споры Толстого с кругом «Современника», Красносельская подчеркивает разное отношение к вопросу воздействия на массы (фактически это еще одно ответвление спора о роли личности в истории), а также заостряет внимание на проблеме «глухоты» критиков «Современника» к сути педагогического проекта Толстого. В этой статье автор скорее следует своим целям (изучение взглядов Толстого того периода и особенности восприятия его идей современниками, а также их культурного и философского фона: «...философия истории и народное образование, великие люди и общественное мнение, нация и ее представители», с. 392), нежели задачам книги, изучающей институциональные аспекты литературы. Распутан автором достаточно сложный эпистемический узел — как случилось, что Толстой был превратно понят и защитниками, и противниками, а в результате его педагогический проект не нашел поддержки.

Завершая обзор, остается отметить, что книга является важным шагом на пути создания социальной истории литературы и намечает множество тем, изучение которых, с одной стороны, поможет разрушить застарелые стереотипы и «перезагрузить» представления о ходе литературного процесса, а с другой — откроет перспективы реконструкции как «самосознания» литературы, так и ее «объективации» в действиях акторов иных полей. Возможно, выбор институционального подхода сквозь призму книги А. Грейфа не является единственно возможным. Книга показывает, как авторам сложно было уложить в эту теорию богатый разнородный материал исследования, показывающий нелинейность автономизации литературы, ее становления как самостоятельного культурного института. Прочтение книги заставляет вспомнить концепцию Бронислава Малиновского²: институциональность реализуется через хартию (миссию), суть которой — убедить распределителя благ в значимости института для стабильности управляемого им общества (и лишь после успешного продвижения или совместно сформулированной хартии возможно то, о чем пишет Грейф — формирование норм и регулярного поведения). Так, статьи Костина как раз намечают программу анализа «точки становления» института литературы как ценности, признанной на уровне «распределителя благ». Битва за ресурс предопределяет далее содержательную динамику одной из ветвей института литературы. Однако другие ветви развиваются вне такого ресурса, стремясь утвердить свою независимость от «благ высшего начальства» и руководствоваться исключительно «внутрицеховыми» ценностями, которые также на всем протяжении истории литературы не отличались «монолитностью» или «гомогенностью». Важное достоинство рецензируемой книги — включение в оптику исследовательского внимания самых разных аспектов бытования литературы, которые (хотя никогда либо крайне редко оказывались объектом изучения) помогают понять механизмы реализации функций художественной литературы в разные исторические моменты и обнаружить новые функции литературы как социального института.

2 См.: Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 1999.